

Под тенью века

С.Н. Дурылин
в воспоминаниях, письмах,
документах



Сборник

**Под тенью века. С. Н.
Дурылин в воспоминаниях,
письмах, документах**

«Никея»

2022

УДК 821.161.1
ББК 84 (2 Рос=Рус)+86.372

Сборник

Под тенью века. С. Н. Дурылин в воспоминаниях, письмах,
документах / Сборник — «Никея», 2022

ISBN 978-5-907628-57-1

Сборник воспоминаний о выдающемся русском писателе, ученом, педагоге, богослове Сергее Николаевиче Дурылине охватывает период от гимназических лет до последнего года его жизни. Это воспоминания людей как знаменитых, так и известных малому кругу читателей, но хорошо знавших Дурылина на протяжении десятков лет. В судьбе этого человека отразилась целая эпоха конца XIX — середины XX века. В числе его друзей и близких знакомых — почти весь цвет культуры и искусства Серебряного века. Многие друзья и особенно ученики, позже ставшие знаменитыми в самых разных областях культуры, долгие годы остро нуждались в творческой оценке, совете и поддержке Сергея Николаевича. Среди них М. А. Волошин, Б. Л. Пастернак, Р. Р. Фальк, М. В. Нестеров, И. В. Ильинский, А. А. Яблочкина и еще многие, многие, многие... В формате PDF А4 сохранен издательский макет книги.

УДК 821.161.1

ББК 84 (2 Рос=Рус)+86.372

ISBN 978-5-907628-57-1

© Сборник, 2022

© Никея, 2022

Содержание

От редакции	6
От составителя	7
К биографии С. Н. Дурьлина	9
Годы юности и молодости	13
Буткевич Татьяна Андреевна	13
Конец ознакомительного фрагмента.	30

Священник Александр Гумеров Под тенью века. С. Н. Дурылин в воспоминаниях, письмах, документах

*Допущено к распространению Издательским советом
Русской Православной Церкви
ИС Р22-207-0165*

Издано при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

НИКЕЯ 

© ООО ТД «Никея», 2022

© Гумеров А. Ш., 2022

От редакции

*Благословенны те, кто любовью и дружбой облегал путнику его
извилистый путь!¹*

С. Н. Дурылин

*Большие люди не имеют даты смерти. Они обладают
необыкновенной силой жизни и живут в памяти всех, кто с ними так
или иначе встретился².*

Н. И. Либан

Материалы в сборнике расположены хронологически и объединены в соответствующие главы. Поэтому тексты людей, чьи воспоминания отражают несколько этапов жизни Дурылина, разбиты по главам. Таким образом, у читателя складывается довольно цельное представление обо всем пути Дурылина в потоке времени.

Все биографические справки (набраны курсивом) и сопровождающие тексты в начале ряда глав сделаны составителем, так же как и постраничные примечания. Они не оговариваются, в отличие от примечаний авторов воспоминаний, которые специально отмечены. В воспоминаниях Т. А. Сидоровой (Буткевич), расположенные ею самой после текста, в настоящем издании они сделаны постраничными для удобства читателей. Все примечания в воспоминаниях монаха Варфоломея принадлежат ему и не оговариваются.

Краткие дополнения к основным текстам воспоминаний, а также уточнения к постраничным примечаниям авторов сделаны составителем и заключены в квадратные скобки.

Имена и недописанные слова раскрываются при необходимости.

Лексика, орфография и синтаксис в приводимых документальных текстах оставлены без изменений, за исключением очевидных опечаток, возникших, скорее всего, при расшифровке.

От составителя

Воспоминания, составляющие этот сборник, отражают почти весь жизненный путь С. Н. Дурылина. Личность Сергея Николаевича во всей ее сложности, противоречиях, нелегкой судьбе открывается изнутри, в разных ракурсах увиденная глазами учеников, товарищей по работе и сослуживцев-ученых, друзей и духовных детей. Слова Дурылина, которыми он подвел итог записям друзей в его зеленом альбоме, можно с полным правом отнести к опубликованным здесь воспоминаниям. Если бы он прочитал их, его реакция была бы такая же. «Сколько любви и дружбы запечатлено на этих же страницах, – любви и дружбы, подвергавшихся многим испытаниям и выдержавших эти испытания! Все эти записи, рисунки, письма – только вехи жизненного пути, но, идя по ним в памяти сердца, я, пряча слезы, шепчу про себя: „Благословенна жизнь! Благословен путь, несмотря на все падения неумелого, торопливого путника! Благословенны те, кто любовью и дружбой облегчал путнику его извилистый путь!“»

Большинство подробных и объемных воспоминаний в этом сборнике написано авторами по просьбе И. А. Комиссаровой-Дурылиной после смерти Сергея Николаевича. Стенограммы выступлений сослуживцев Дурылина на вечерах по случаю годовщины его памяти 12 и 15 декабря 1955 года в Доме ученых и в Институте истории искусств АН СССР отредактированы авторами и переданы Ирине Алексеевне. Все воспоминания были выверены по экземплярам из архивов Г. Е. Померанцевой, В. Н. Тороповой, РГАЛИ, Мемориального дома-музея С. Н. Дурылина. Поскольку в мемуарах имеются частые повторы, неизбежные при воспоминаниях об одном человеке, их пришлось сократить. Небольшие тексты воспоминаний о Дурылине, встречающиеся в книгах разных авторов, также вошли в сборник, они дополняют основной корпус мемуаров. По этой же причине в сборник включены письма³ или отрывки из них, записи в зеленом альбоме Дурылина его друзей и близких знакомых, не оставивших специальных воспоминаний о нем. Люди из окружения Дурылина общаются, темы в их письмах переплетаются, создавая единую картину жизни тех лет. В письмах иногда угадывается то, что нельзя было в советские годы сказать открыто. Бытовые зарисовки в воспоминаниях И. А. Комиссаровой, И. В. Ильинского и др. создают фон, на котором протекали дни и годы Дурылина, и оживляют рассказы о нем. Воспоминания сотрудников Дурылина по работе в Институте истории искусств, ГИТИСе и др. в основном написаны сухим, «научным» языком – сказалась привычка к стилю научных статей и оглядка на цензуру советского времени. Вполне естественно, что оставили воспоминания те, кто относился к Дурылину с симпатией, с почтением и пиететом. Но были у него и недоброжелатели. Судя по доступной нам переписке людей из его окружения, таких было гораздо меньше или совсем мало. К таким можно отнести неприязненный отзыв Степуна, который для контраста включен в сборник, и позднее высказывание С. В. Шервинского.

После заключения в Киржаче гражданского брака с Дурылиным С. Н. в паспорте Ирины Алексеевны осталась фамилия Комиссарова. Но в последние годы она подписывала свои документы и письма двойной фамилией Комиссарова-Дурылина. Поэтому мы оставляем фамилию Комиссарова до возвращения из Киржача в Москву, а затем, чтобы не нарушать установившуюся традицию, используем двойную фамилию.

В 1968 году Ирина Алексеевна Комиссарова передала мне тексты воспоминаний с просьбой подготовить сборник к публикации. Когда был организован Мемориальный дом-музей С. Н. Дурылина, я передала в него эти материалы, так как считала, что они должны находиться в архиве музея и я смогу ими пользоваться в любое время. Прошло много лет, только теперь появилась возможность издания такого сборника.

Выражаю благодарность всем, кто оказал мне ту или иную помощь в подготовке этого сборника: Померанцевой Галине Евгеньевне за бесценные консультации и предоставленные материалы, а также Рябовой Елене Васильевне, Кузиной Галине Новомировне, Маянц Лидии

Лазаревне, Рашковской Марии Аркадьевне, Тейдер Валентине Федоровне, Горовому Леониду Михайловичу, Тишкиной Татьяне Петровне – за справки и ценные указания, сотрудникам Музейного объединения «Музеи наукограда Королёв» за предоставленную ранее возможность пользоваться материалами архива С. Н. Дурьлина в Мемориальном доме-музее С. Н. Дурьлина.

К биографии С. Н. Дурылина⁴

В Сергее Николаевиче Дурылине (1886–1954) жили и творили одновременно несколько ученых: историк литературы и литературовед, историк театра и театральный критик, религиозный мыслитель и философ, археолог и этнограф, выдающийся педагог-теоретик и практик. Надо добавить, что он еще был священником. Мог бы состояться как музыковед, знания и музыкальная чуткость это позволяли (достаточно прочесть его воспоминания о А. В. Неждановой, В. Р. Петрове, «В зале консерватории»). К сожалению, не все грани его дарований могли быть раскрыты в предлагаемых воспоминаниях, т. к. в советские годы нельзя было говорить о нем как о религиозном мыслителе, философе, священнике. Об этом могли поведать те, кто писал «в стол» (С. Фудель, И. А. Комиссарова) или дожили до времен, когда об этом можно рассказать (протоиерей Владимир Отт, монах Варфоломей). В наши дни этой стороной личности Дурылина занимаются исследователи его творчества, для которых открылись в архивах его «подспудные» в те времена работы, в том числе и неизвестная ранее высокохудожественная проза, проникнутая религиозной тематикой, философским содержанием. Стали известны и его духовные стихи.

О замечательных человеческих качествах Сергея Николаевича рассказывают авторы воспоминаний в этом сборнике. Нет необходимости писать о них в краткой биографии. В ней хотелось лишь наметить его жизненный путь, основные его вехи, на которые тематически ложатся воспоминания.

* * *

Родился С. Н. Дурылин 27 (14 ст. ст.) сентября 1886 года в купеческой семье и всю жизнь относился к своему сословию с глубоким уважением. Его радовало, что крестили его в той же купели Елоховского Богоявленского собора, в которой крестили и А. С. Пушкина. А вот то, что родился он в день Воздвижения Животворящего Креста Господня, день всегда постный, видимо, наложило трагический отпечаток на его судьбу. Отец – Николай Зиновеевич Дурылин (1832–1899) торговал в своих двух лавках у Ильинских ворот в Москве шелками и парчой и славился как искусный специалист в шелковом деле и отменный советчик покупателям в выборе товара. Мать – Анастасия Васильевна Дурылина (урожд. Кутанова; 1852–1914), оставшись бездетной вдовой, вышла замуж вторым браком за 50-летнего вдовца Дурылина с одиннадцатью детьми. Из родившихся у нее пятерых детей выжили только двое: Сергей и Георгий. О родном отцовском доме с большим хозяйством и садом в Плетешках в Елохове, о глубоких православных традициях в семье Сергей Николаевич в последние годы жизни написал подробные воспоминания «В родном углу»⁵. После разорения отца в 1896 г. пришлось из собственного большого дома переехать в маленькую съемную квартиру в Переведеновском переулке, где вскоре отец умер. Анастасия Васильевна с двумя детьми и сестрой осталась практически без средств к существованию. За мужа, незадолго до смерти переписавшегося из купеческой гильдии в мещане, она получала очень маленькую пенсию.

Сергей Дурылин, проучившись в 4-й мужской гимназии с 1897 по 1904 год, бросил ее на горе матери, обуянный «честнейшим и бестолковейшим народничеством», посчитав стыдным иметь привилегии, которых не имеет простой народ. Свое отношение к системе обучения в гимназии Сергей Дурылин выразил в статье «В школьной тюрьме. Исповедь ученика»⁶. Он сразу стал зарабатывать репетиторством в состоятельных семьях. Увлеченный, под влиянием А. С. Буткевича, революционными идеями, вступил в революционную молодежную организацию, ходил на собрания, писал и расклеивал прокламации. Выросший в религиозной семье, он стал

атеистом. Революционного энтузиазма хватило ненадолго. После подавления революции 1905 года в стране наступила реакция, а в 1906 году был убит жандармами близкий друг Сергея Михаил Языков и еще один одноклассник – члены боевой дружины. Дурылин пережил глубокую депрессию, мучительно думал, во имя чего были отданы эти и другие жизни. На «реставрацию себя» (выражение С. Дурылина. – В. Т.), восстановление душевного равновесия ушло несколько лет. К 1910 году вернулся к «вере отцов» и вынес убеждение, что насилие и зло не могут быть средством достижения своей ли, общественной ли цели, и твердое правило: идти по жизни только своим путем, на свой страх и риск. И еще он определил для себя главный закон: не суди! не обвиняй никого! В этом году на его письменном столе появились новые книги – жития святых, творения Отцов Церкви. Усиленно занялся самообразованием, изучением философии, литературы, театра и музыки. В результате стал широкоэрудированным человеком, что отмечают многие его современники.

В 1910 году Дурылин поступил вольнослушателем на археографическое⁷ отделение Археологического института, но слушал лекции и на археологическом отделении. Полученные здесь знания⁸ пригодились в дальнейшей работе: в экспедициях на север, в Музее местного края в Челябинске, в Комиссии по сохранению памятников искусства и старины Троице-Сергиевой Лавры, в организации музеев в Оптиной пустыни и в Абрамцеве, в формировании своего богатейшего архива и библиотеки... Другу Всеволоду Разевигу Дурылин сообщает, что платить за его обучение будут Чернышевы. Окончив полный курс в 1914 году, написал выпускную работу «Иконография Святой Софии». По собственной инициативе, а позже по командировке института Дурылин совершил пять поездок на Русский Север (1906, 1908, 1911, 1914, 1917)⁹. Собранный материал оформился в искусствоведческие и этнографические очерки: «За полуночным солнцем. По Лапландии пешком и на лодке», «Древнерусская иконопись и Олонецкий край», «Под северным небом. Очерки Олонецкого края». В работе «Кандалакшский Вавилон» зафиксировано его уникальное открытие. На полюбившийся ему север он брал с собой своих учеников Николая и Александра Чернышевых, Игоря Ильинского, брата Георгия, друзей В. В. Разевига и Г. Х. Мокринского... Кроме научного интереса север давал утешение, позволял обрести душевный покой. Дурылин был членом Московского общества исследователей памятников древности им. А. И. Успенского, Архангельского общества изучения Русского Севера и Общества изучения Олонецкой губернии.

С 1905 года Дурылин работал в штате толстовского издательства «Посредник», а с 1907 года – в журнале «Свободное воспитание», выходившем при этом издательстве тоже под патронажем Л. Н. Толстого. И теперь, досконально изучив опыт российских и зарубежных школ и методики преподавания, Дурылин будет писать статьи как теоретик педагогики. Правда, к 1912 году он изменит свою точку зрения на «свободное» воспитание и перестанет писать статьи, придя к выводу, что воспитывать себя и учеников можно, только руководствуясь нравственными законами, которые дает христианство. Однако практику педагога и пастыря продолжит до конца жизни. До 1917 года Дурылин, помимо работы репетитором в разных семьях (это его основной заработок), преподавал в частной гимназии Натальи Евгеньевны Шписс.

В 1909 году Дурылин целый день провел в Ясной Поляне у Толстого. Встреча с Толстым стала вехой на пути поиска внутренней духовно-нравственной опоры. Свои впечатления и мысли он выразил в мемуарах «У Толстого и о Толстом»¹⁰.

Жизнь Дурылина в 1910–1917 годах необыкновенно насыщена участием в духовной и интеллектуальной жизни Москвы. Круг его общения широк. Это философы, религиозные деятели, ведущие писатели и поэты. В 1910 году он пришел в издательство символистов «Мусагет» и стал там «своим человеком». Символизм воспринимал как «особый способ мышления, целостную и стройную теорию познания». К этому времени он уже был поэтом. Стихи писал почти до конца жизни (в основном духовные), но публиковать не стремился. Лишь до револю-

ции 1917 года опубликовал малую толику¹¹. Дурылин был активным участником и одним из инициаторов создания Ритмического кружка Андрея Белого. «Читаю я публичную лекцию на тему „Лирика и эксперимент“, – вспоминал Андрей Белый, – ответ на которую – появление ко мне тройки молодых людей – Дурылина, Сидорова и Шенрока – с предложением организовать под моим руководством экспериментальную студию по изучению ритма; быстро налаживается Ритмический кружок в составе пятнадцати – семнадцати человек»¹². Тройку инициаторов Белый называет «руководящей» в работе кружка. В статье «Академический Лермонтов и лермонтовская поэтика»¹³ Дурылин анализирует рифмы, ритмы и размеры стихов поэта.

Интерес к религиозно-философским проблемам привел Дурылина и в издательство философов «Путь», и в Религиозно-философское общество памяти Вл. Соловьева¹⁴, секретарем которого состоял с 1912 по 1918 год, и в Общество свободной эстетики В. Брюсова, и в Кружок ищущих христианского просвещения, душой и руководителем которого был М. А. Новоселов¹⁵. Читал доклады Дурылин и в Вагнеровском кружке, который собирался в студии скульптора К. Ф. Крахта. Доклад «Рихард Вагнер и Россия. О Вагнере и будущих путях искусства», прочитанный в 1911 году, вышел отдельной книжкой в издательстве «Мусагет» в 1913 году. Мысли Дурылина о религиозных путях развития искусства в России были одобрительно приняты С. Н. Булгаковым, Э. К. Метнером, Эллисом.

В июне 1912 году Дурылин побывал на озере Светлояр в Нижегородской губернии, где находится «невидимый град Китеж». Вернувшись, написал «Сказание о невидимом граде Китеже» и «Церковь Невидимого Града», которая получила высокую оценку Императора Николая II. В книге «Рихард Вагнер и Россия» Дурылин трактовал легенду о невидимом граде Китеже как верховный символ русского народного религиозного и философского сознания. В 1915 году он еще раз побывает у стен Града Невидимого вместе со своим учеником Микой Морозовым, будущим шекспироведом.

В 1914 году Сергей Николаевич пережил душевный кризис, последствия которого на долгие годы определили его жизненный путь. 11 ноября умерла мама Анастасия Васильевна, горячо им любимая. Не в силах справиться с отчаянием, растерянностью, потеряв смысл «своего существования», Дурылин едет в Оптину пустынь к старцу о. Анатолию (Потапову) за поддержкой. В Оптину пустынь Дурылин будет теперь наезжать ежегодно вплоть до 1921 года¹⁶.

С начала Первой мировой войны Дурылин занимал твердую православно-патриотическую позицию. В 1914–1915 годах в Рыбинске, Костроме, Твери, Москве читал лекции, изданные в 1916 году в книге «Лик России. Великая война и русское призвание», в которой война оправдывалась предназначением России сберечь Православие, освободить христианские народы. Для спасения самой России Дурылин видит только один путь: объединив все христианские народы, «научить их единомысленному исповеданию веры. До этого еще бесконечно далек путь России, но она исполнит свое призвание лишь при условии, если не свернет с этого пути, если, уставая, падая и вновь вставая, будет непоколебимо идти по нему. Первое же и главнейшее условие для этого – ей самой любить больше жизни своей и хранить <...> свое Православие, быть православной Россией»¹⁷. В 1915 году выйдет книга «Град София. Царьград и Святая София в русском народном религиозном сознании».

Издав в 1910–1916 годах несколько книг о Гаршине, статьи о Лермонтове и Лескове, Дурылин временно отходит от чистого литературоведения, его теперь больше занимают вопросы веры, жизнь Церкви. Публикует статьи и брошюры по истории Церкви и церковной жизни. Он член Московского епархиального училищного совета. В 1916 году как член Братства святителей Московских Петра, Алексея, Ионы и Филиппа на общем собрании в покоях владыки митрополита при Чудовом монастыре делает доклад «Церковь, монастырь и старчество в личности и жизни К. Леонтьева». В 1918 году на Богословских курсах читает цикл лекций по церковному искусству. На квартире М. А. Новоселова в Обыденском переулке несколько

вечеров читает курс лекций по истории археологии Кремля, устраивает для слушателей посещение соборов. Организует курс лекций «Очерки по философии культа» о Павла Флоренского, который живет в Сергиевом Посаде. «Дорогой отец Павел! Вы, вероятно, предупреждены Мокринским¹⁸ о том, что вопрос об устройстве Ваших лекций в Москве <...> перешел в фазу осуществления. Помещение уже снято. <...> Желательно устройство 2 лекций в неделю – так, чтобы в течение месяца был прослушан курс в 8 лекций. <...> Надлежащий состав слушателей обеспечен. Билеты не поступают в продажу для всех и каждого, а будут распределены в среде людей знакомых и ведомых. <...> Ответ сей пошлите на имя Сергея Иосифовича Фуделя, который ведет внешнюю часть дела. <...> Да обрадует нас Христос Воскресший. Любящий Вас С. Дурылин»¹⁹.

Дурылин был участником Всероссийского Собора Русской Православной Церкви 1917–1918 годов, присутствовал на открытии Собора²⁰, работал в Соборном отделе о духовно-учебных заведениях. А в период подготовки Собора активно включился в церковную жизнь: написал Устав Кремлевского братства, утвержденный на Соборе, издал в 1917 году брошюры «Церковный Собор и Русская Церковь», «Приход. Его задачи и организация». К этому времени он уже автор книг, статей, докладов, превосходный лектор. С 1920 года – член Всероссийского союза писателей.

События в стране после 1917 года воспринял как ужас, трагедию. Хотел укрыться в стенах монастыря, но духовный отец, оптинский старец Анатолий (Потапов), благословения не дал.

В. Н. Торопова

Годы юности и молодости

Буткевич Татьяна Андреевна²¹

Сидорова (урожд. Буткевич) Татьяна Андреевна (1887–1983) – искусствовед, сотрудник Академии архитектуры СССР. Друг и корреспондент С. Н. Дурылина с 1903 года до самой его смерти. Жена Алексея Алексеевича Сидорова (1891–1978)²². Текст воспоминаний публикуется по экземпляру, подготовленному Т. А. Буткевич в 1975 году для издания. Она просила Ирину Алексеевну публиковать только этот экземпляр, а все предыдущие считать черновиками. Т. А. Буткевич, остановившись на 1916 году, советовалась с Ириной Алексеевной. Решили, что не следует писать о 1917-м и последующих годах, т. к. этот период в биографии Дурылина (принятие священства, аресты и ссылки) не следовало обнародовать в советские годы. Для воспоминаний Татьяна Андреевна использовала свои дневники тех лет и письма к ней Сергея Николаевича, поэтому они так подробны и точны.

Воспоминания о Сергее Николаевиче Дурылине. 1903–1916

1903 год

В 1900 году умер за границей от туберкулеза первый (по счету) врач, заведующий <бывшей>Измайловской земской больницей²³ Ксенофонт Михайлович Языков. Приблизительно тогда же или немного спустя мой отец, Андрей Степанович Буткевич²⁴, получил место заведующего врача Измайловской больницы. По крайней мере, в 1901 году мы уже жили на Благуше²⁵, в квартире главного врача больницы. В 1903 году я впервые встретила с Сергеем Николаевичем.

Как-то раз весной старший сын Ксенофонта Михайловича Языкова, Миша Языков, привел к нам целую группу своих товарищей-гимназистов, учеников 4-й мужской гимназии, кажется, 5-го класса. Среди них был Сергей Николаевич. Сережа был в то время худеньким мальчиком невысокого роста с бледным, необыкновенно серьезным лицом и вдумчивым взглядом. Кажется, он и тогда уже носил очки. Ему было тогда лет 17, на вид он казался моложе. Своей серьезностью, тихостью, внимательностью к собеседнику он выделялся из шумной, веселой компании своих товарищей и сразу обратил на себя внимание. Он понравился моему отцу, который отличил его от других гимназистов, пришедших с Мишей, и впоследствии всегда относился к нему с большей симпатией, чем к другим. Отец был передовым человеком, очень революционно настроенным, начитанным в области политической и экономической литературы того времени. Он получал из-за границы многие нелегальные журналы и читал их громко в нашем семейном кругу матери, мне и некоторым друзьям, постоянно бывавшим у нас. Иногда каждый из нас читал эту литературу в отдельности, и помню, как я – тогда еще девочка лет 14 – уносила эти листки, мелко исписанные на тонкой прозрачной (папиросной?) бумаге, в свою комнату и со вниманием читала их, вдумываясь в каждое слово, как в какое-то откровение. Впоследствии (кажется, в революцию 1905 года) вся эта литература была собрана в ящик и зарыта в палисаднике нашего дома. Мы искали ее потом, да так я не нашли. Не чужд был мой отец, как бывший толстовец, и религиозно-философских исканий. Неудивительно, что для всей этой гимназической молодежи, всегда жадной к знанию, к некоему поучительству, он стал своего рода духовным водителем, авторитетом. Некоторые из этой молодежи стали нас навещать, остались надолго друзьями нашего дома. Самым близким из них стал для нас Сергей

Николаевич. Некоторые из мальчиков, может быть, в подражание взрослым революционерам, имели прозвища, под которыми мы их и знали, помимо их настоящих фамилий.

В эти ранние годы я мало что помню о Сергее Николаевиче. Запомнилась мне одна сценка в нашем палисаднике: я стояла у забора, Миша Языков несколько поодаль в палисаднике возился с кем-то из моих младших братьев. Сережа стоял у калитки в палисаднике и как-то долго, задумчиво и, как мне тогда показалось, странно смотрел на меня. Мне казалось, что он видит во мне не меня, а вообще девушку, «Девушку» с большой буквы, и полон какой-то мечты, вовсе не относящейся ко мне. Мне было не по себе от его взгляда, но продолжалось это всего каких-нибудь несколько минут. Записываю это здесь потому, что какой-то женский инстинкт, присущий, очевидно, даже таким юным годам, не обманул меня: много лет спустя в одном из писем ко мне Сергей Николаевич вспоминал эту сцену и писал о ней так: «Вечерело. Мы были в палисаднике. Миша возился с ребятами, я стоял один у решетки, вы поодаль. Молчали. И в первый раз я испытал тогда радость и грусть светлого женского облика, весеннего, юного...»²⁶.

Сергей Николаевич уже и тогда писал, писал рассказы, может быть, стихи, вел дневник. Описанную сценку у калитки, по его собственному позднему признанию, он тогда же записал в дневник, но дневник этот был утерян или сожжен. О его литературных опытах я узнала так: мама моя просила его приходить помогать мне в математике, которая в то время мне трудно давалась. Я, вообще застенчивая в те годы, очень стеснялась Сережу и мало о чем с ним разговаривала. Но вот как-то раз он принес мне свой рассказ, просил прочесть и сказать – понравилось ли? Рассказ назывался «У фонаря» и отличался большой мрачностью. <...>

Неудовлетворенность, тоска, стремление вырваться из каких-то оков, искание больших ценностей в жизни, по-видимому, уже с этих юных лет были постоянными спутниками внутренней жизни Сергея Николаевича. Первое его письмо ко мне, написанное 23 февраля 1904 года еще не вполне установившимся почерком, свидетельствует об этом; привожу его почти полностью.

Понедельник 23 февраля (1904 г.)

Таня!

Мы страшно давно не видались – с октября, а за это время столько пришлось пережить и передумать. В субботу мы увидимся, а теперь мне хочется с Вами побеседовать, чтобы в субботу, при свидании, мы могли встретиться людьми, говорящими на одном языке и потому друг друга более или менее понимающими.

Прежде всего, Вы должны быть страшно удивлены тем, что я не был у Вас почти три месяца и не подавал о себе, что называется, ни слуху ни духу... Конечно, это до известной степени свинство, но дело в том, что я все это время вообще никуда не ходил. Пробыл месяц в Рязани, у Миши (Языкова. – Т. Б.), а остальное время сидел дома и виделся почти только с одним Мешковым²⁷. И даже не скажу, чтоб особенно много читал в это время. Очень много за это время переписывался с Мишей и, так сказать, знакомился с ним, с его духовным миром. Я убедился, что абсолютно до сих пор его не знал, и потом, главное, не знал себя самого. Когда же мне пришлось поглубже заглянуть в себя, в свои мысли, воззрения, чувства, я поразился невообразимым хаосом, царящим там решительно во всем. И все это время я старался привести себя в порядок, а это чертовски трудно. Впрочем, могу Вам сообщить и практический результат всего этого: с будущего года я намерен жить с Мишей в Рязани, и жить исключительно своим личным трудом, намерен уйти из своей среды и обстановки, потому что считаю ее пошлой, затягивающей и вредной... Но это так просто и легко сказать теперь, когда все уже кончилось, а стоило все это, Таня, трудной и тяжелой борьбы. Порой, особенно в ноябре, я чувствовал себя прямо отчаянно...

Как-то случилось вдруг так, что я, собираясь уехать из Москвы, оставляю очень мало здесь людей, о которых буду вспоминать с хорошим чувством. Вообще перелом большой и во

мне самом, и в окружающем меня, и такой перелом, что он вполне достаточен для того, чтобы начать новую жизнь с новыми людьми... Еще мы об этом поговорим, и хорошенько. Вы только на меня не сердитесь.

Ну, значит, в субботу увидимся. Я не надую.

Ваш С. Дурьлин.

Какова была семейная обстановка Сергея Николаевича в те годы, я не знала. Позднее я неоднократно бывала у него, в их маленькой бедной квартирке в Переведеновском переулке, близ Гаврикова, где у Сергея Николаевича была отдельная комната, продолговатая, узкая, с одним окном на узкой стороне, противоположной двери. В комнате стояла кровать, письменный стол по одной линии с кроватью и, дальше к окну, этажерочки с книгами. Не помню, висело ли что-нибудь на стенах. Против письменного стола находилась другая дверь в большую (сравнительно) комнату, которая была столовой и гостиной одновременно. Мать²⁸ Сергея Николаевича – очень запомнилась она мне сидящей в этой комнате, за чайным столом, перед самоваром, – по своему внешнему виду была типичной женщиной из мещанской среды. Сережа, кажется, ее очень любил, но существовало между ними какое-то глухое раздражение из-за всяких житейских мелочей. У нее был нос с горбинкой, как и у Сергея Николаевича. <...>

1904–1905 годы

Война с Японией. Ее печальный конец. В результате некоторое ослабление полицейского режима самодержавия. В конце 1904-го и всю первую половину 1905 года – полулегальные лекции и выступления революционеров, на которых я бывала с моими родителями. Ничего не помню за это время о Сергее Николаевиче. Вероятно, и даже наверное, он бывал на этих собраниях, бывал и у нас, т. е., вернее, у моего отца, которого он очень любил и читил. В то время не было человека, мало-мальски порядочного, честного и здравомыслящего, который не горел бы негодованием против всех неурядиц, творившихся на войне, и не желал бы коренного преобразования нашего политического строя. Отдали этому дань и мы, гимназическая молодежь 15–18 лет. Подражая взрослым партийцам, мы создали свою гимназическую революционную всероссийскую организацию, которая получила шутовское название от наших старших сестер и братьев – «Средний возраст». Мы устраивали свои собрания, для которых находили помещение, оповещали товарищей из других учебных заведений о часе и дне собрания, произносили революционные речи, вступали в диспуты и соблюдали конспирацию. Основным местом наших собраний был нижний этаж двухэтажного дома где-то в Гранатном переулке. Кем была предоставлена в наше распоряжение огромная комната нижнего этажа, не знаю и сейчас. Совершенно не помню, выступал ли Сергей Николаевич на этих собраниях, но, конечно, он их посещал.

Приближалась революция 1905 года. Многие из нашей молодежи вступили в ряды боевых дружин, в том числе и лучший друг Сергея Николаевича Миша Языков.

Говорили тогда, что знаменитое ограбление Московского государственного банка было совершено одной из таких дружин. Эти же молодежные дружины захватили реальное училище Фидлера и устроили там засаду во время вооруженного восстания. В декабре было настолько опасно оставаться в Измайловской земской больнице, на которую грозились напасть банды черносотенцев, что моя мать, взяв меня, младшую сестру и самого маленького из моих братьев, переселилась к знакомым, куда-то на Покровку. Мой отец, получив однажды известие, что черносотенцы должны в одну из ночей напасть на больницу, отправился было вечером на Благушу с револьвером в кармане, но был остановлен полицией. Найдя у него револьвер, его хотели тут же на месте расстрелять, но каким-то чудом отпустили, конечно, отобрав оружие.

Миша Языков с одним из товарищей был захвачен и посажен предварительно в часть, кажется, на Басманной. Ему грозил чуть ли не расстрел. Предстояло спасти товарища. Как и кем было организовано освобождение Миши из части, не знаю, но совершено оно было Сер-

геем Николаевичем. Каким образом ему удалось пробраться в часть и пронести туда одежду для Миши, я не помню. Знаю только, что одежда была оставлена в уборной, куда в условленное время отпросился Миша, там переоделся, и они с Сережей выбрались на двор части. У ворот их хотели задержать полицейские, охранявшие часть, но Миша с великолепным самообладанием, властным, повелительным жестом и голосом, не допускающим возражений, произнес: «Открыть ворота. Не видите, кто идет!» Полицейские в растерянности повиновались, ворота были открыты, и Миша с Сережей, очутившись на улице, не замедлили скрыться. Не знаю, была ли за ними погоня, но если и была, то безрезультатная. Миша был спасен. До выезда из Москвы он укрывался в безопасном месте у знакомых, а потом уехал.

Революция была подавлена. Мой отец был арестован. Мы вернулись в нашу квартиру в Измайловской больнице. Жизнь понемногу входила в свою обычную колею. Начались занятия в гимназиях.

Наступил 1906 год. Не помню, когда и из какого класса ушел Сергей Николаевич, не вынеся казенщины преподавания²⁹. Но, кажется, в 1906 году он уже не учился. Как он существовал в это время, не знаю.

В 1906 году вышла небольшая брошюрка Сергея Николаевича «В школьной тюрьме», в которой он с гневной страстностью и душевной болью бичует порочность и преступность старорежимного школьного воспитания и обучения³⁰.

1906 год

Зима и весна 1906 года являла резкий контраст бурному, возбужденному 1905 году. Наступила реакция. Ни о каких общественных собраниях, выступлениях с боевыми речами не могло быть и речи. Люди замкнулись в частном домашнем быту. Видались только с близкими знакомыми. Наша гимназическая организация, естественно, распалась. Небольшая группа друзей, юношей и девушек, сблизившихся еще в предшествующую зиму, продолжала поддерживать отношения с нашей семьей. Отец сидел в тюрьме. Молодежь часто собиралась у нас, привлекаемая полузагородным местоположением больницы и близостью замечательного древнего леса «Зверинца»³¹, куда мы отправлялись всей компанией в длительные прогулки на санях (у нас были лошадь и розвальни для поездок отца к дальним больным) или на лыжах. Время переменилось, и революционный подъем, бурное возбуждение уступили место романтическим настроениям, увлечению поэзией, мирным веселым разговорам за чайным столом. Мы очень увлекались в это время стихами Валерия Брюсова, незадолго перед тем вышедшей его книжкой «Urbi et orbi» – и почти всю ее выучили наизусть. Наиболее частым нашим посетителем в это время, кроме Сергея Николаевича, был младший брат его Георгий.

Весной 1906 года я окончила гимназию. Отцу моему высылку в Сибирь, по ходатайству мамы, заменили высылкой за границу. В тюрьме, в шуточной борьбе за единственную кровать, находившуюся в общей камере, отец повредил себе ногу в коленке и ходил с костылем. Страшно было отпускать его одного за границу на три года, и было решено отправить меня с ним. Я мечтала учиться в каком-либо заграничном университете. Выбрали мы своим местопребыванием Женеву. Перед отъездом мы снялись у нас на дворе – отец, мама, моя младшая сестра Нина, Сергей Николаевич и я. Уехали мы вечером. На вокзал, кроме наших, провожали нас Сергей Николаевич и товарищ Миши Языкова Борис Лебедев³². Я стояла на площадке вагона, когда поезд тронулся, и, помню, Борис еще некоторое время бежал за поездом, все прощаясь со мной, точно предчувствуя, что больше мы уже никогда не увидимся. Впоследствии, после его трагической гибели, я часто вспоминала этот момент. Сережа при прощании обещал писать мне и моему отцу.

В Женеве мы с отцом поселились отдельно: он снял комнату в предместье Женевы, так называемом Grand Lancy, я остановилась у моей гимназической подруги, которая училась в Женевском университете.

Первое письмо, полученное мною от Сергея Николаевича в Женеве, было грустное. «В Москве последнее время мне было очень тяжело, – писал он, – чувствовал я себя скверно, голова не работала, читать не хотелось и делать ничего не хотелось... Так что я счел за лучшее взять месячный отпуск – и бежать куда глаза глядят, долго не раздумывая и не размышляя». Он сообщал, что едет сперва к Языковым (в Рязань), а оттуда куда-нибудь на север. Чем стал для Сергея Николаевича север со времени этой поездки и оставался многие годы, а может быть, и до конца жизни, видно из следующего его письма ко мне от того же времени: «Сидел я, сидел в Москве, но наконец надоело; так мне стало противно, скучно и тяжело, что сел я на поезд и уехал на север. Сначала я был в Олонецкой губернии, в стране лесов, озер и валунов. Потом поехал в Архангельск, а затем по Белому морю в Соловецкий монастырь. Там поездил по островам, подышал морем, соснами и свободой – такой свободой, о которой и не снилось нашим мудрецам.

Великая природа севера, его ночи, как день, но без жары, его бесконечные дали морские, темные леса, широкие, как море, реки и озера; седые вечные камни, старые церкви – все это далеко, как небо, от того, чем живешь в нашем стольном граде – будь он проклят! Никогда еще я не чувствовал себя так хорошо, свободно и молодо, как там». И далее он прибавлял: «Планы у меня и на будущее лето – ехать на север, только подальше – в Океан. Сейчас я много читаю и много пишу...»³³.

В России в это время царил полная реакция. Дума была распущена, полицейский режим усилился. Тюремь были переполнены. Кое-где еще, по местам, в провинции, действовали отдельные революционные группки молодежи, но, в общем, после революционного взлета в настроении молодежи царил упадок и какой-то разброд. Для многих наступили тяжелые дни разужверения, пересмотра всего пережитого, проверки себя, своих взглядов, самоуглубления и поисков «своего, настоящего» смысла жизни. В результате многие из молодежи пришли к разочарованию в своих прежних революционных и общественных стремлениях, так называемых «идеалах». Следующая выдержка из письма Сергея Николаевича к моему отцу ярко характеризует положение в Москве и собственное душевное состояние его в это время: «Дорогой Андрей Степанович! Не писал Вам давно, давно... У меня сейчас перо валится из рук, и так продолжается уже давно... Могу только читать, но не все; экономические книги вызывают тошноту, политика – скуку и полное отвращение... Читаю кое-что по философии, по искусству и литературе. Задумал сам ряд работ. Одну большую – из области педагогики, другую – по истории литературы. Кое-что уже сделал, но больше в области подготовки, чем исполнения... Мечтаю о будущем лете, когда думаю сделать целое путешествие по Печоре, Северному Уралу и Ледовитому океану, без всяких целей, единственно ради променада и вояжа... Влечет меня в дикие страны... Надоели мне всякие „измы“, томит меня „политика“ и гнетет „экономика“...»

Остро и болезненно переживал этот перелом Сергей Николаевич. Разрыв с тем, чему поклонялся, тяжел для каждого человека, для впечатлительной, нервной и чуткой натуры Сергея Николаевича он был особенно мучителен.

1907–1908 годы

В конце 1906 года отец перебрался на жительство в Италию вместе с группой эмигрантов, переселившихся из Финляндии, где они укрывались от царского преследования.

На письмо моего отца из Италии, на его страстные упреки в измене делу революций, в том, что Сергей Николаевич забыл голодных мужиков и предался буржуазному самодовольству, забыл своих товарищей, погибших за дело освобождения народа, и высказываемое моим отцом убеждение, что сейчас не время думать, а надо делать, Сергей Николаевич отвечает

не менее страстным оправданием своего отхода от дела революции. «Я ничего не позабыл, – пишет он, – не забыл мужиков, идущих за правдой, ищущих эту правду у нас, я не забыл голодных детей, раскрытые избы, цингу, я не забыл тюрем и виселиц, я ничего не забыл! Но я задумался над тем, правду ли говорили мы мужикам, правда ли то, что мы считали правдой, да в чем вообще правда... А Вы знаете, что значит задуматься над этим всем и многим другим еще?»³⁴. В свою очередь, Сергей Николаевич обвиняет моего отца и все старшее поколение в насильственном натаскивании молодежи на революционную и общественную жизнь, на практическую деятельность тогда, когда у этой молодежи не сложились еще свои собственные убеждения, не выработался свой собственный взгляд на жизнь. «И когда у нашей молодежи пробуждается интерес к свободной мысли, жажда и томление по самостоятельной мысли, самобытному творчеству жизни, наше старшее поколение, все, все ополчаются на нее, чуть не обвиняя молодежь, ищущую новых дорог и путей в царство истины, красоты и правды, в буржуизме, довольстве, самолюбовании, устройстве келий под елями, отступничестве и проч.! Иного ничего – в ответ на все муки в страданиях душевных рождающейся новой мысли и новых чувств!» Несколько раньше Сергей Николаевич писал мне: «Все, что было создано прекрасного на свете, все это создано теми, кто шел своим путем, на свой риск, к своей цели, своими ногами, у каждого человека есть единый верный и точный компас – его „я“, и не послушайся он его хоть раз, нет конца блужданиям»³⁵. Судя по следующим строкам письма Сергея Николаевича к моему отцу, последний упрекал его в гамлетизировании, в бессильном и безвольном раздумье над жизнью, вместо того чтобы кинуться в эту жизнь, борясь за лучшее будущее, на что Сергей Николаевич отвечал: «Неужели Гамлет (уж если брать эти формулы) с его всечеловеческим «быть или не быть?», с его раздумьем над вечным, ниже, чуть не позорнее Дон-Кихота, доброго, милого, но воюющего с ветряными мельницами! Вы бы хоть вспомнили великих Гамлетов, когда Вы порочите их; Гамлеты, люди мысли, раздумья, двигали все вперед и все создавали. Кант, Герцен, Тургенев, Достоевский, Дж. Бруно, Галилей – не Гамлеты ли они!» Из этих строк совершенно ясно вытекает, что Сергей Николаевич причислял себя именно к Гамлетам. И действительно, стремление к познанию, к исканию высших ценностей, смысла жизни, к некоему самоопределению и нахождению своего подлинного, глубинного «я» в водовороте и хаосе окружающей жизни являлось основным целеустремлением всего жизненного пути Сергея Николаевича. Вся его сложная, противоречивая, многообразная натура требовала этих последних жизнетворческих определений, выходящих за пределы повседневной деятельности и бытовой обстановки. В другом месте того же письма к моему отцу он писал: «Человеку кто-то дал и иные интересы, и иные наполнения его жизни, другие стремления – стремления к высшему познанию себя, мира, вселенной, Бога, красоты мира, предвечных тайн бытия – иными словами, стремления к тому, что называют философией, наукой, искусством, религией». И далее: «Я думаю, что нельзя заниматься никакой политической деятельностью, нельзя проповедовать частных решений, частных вопросов, когда нам неясны самые основные, самые тревожно-властные вопросы бытия – то, что называется основными проблемами человеческой мысли, вечными проблемами...»

Сопоставляя два рода людей – волевых, действенных по взглядам и темпераменту и людей созерцательных, людей мысли, я писала своей матери 9 февраля 1907 года: «Есть люди, которые стремятся охватить явления окружающего мира во всей их полноте и разносторонности, установить гармонию и связь между всеми вопросами философии, жизни, нравственности, религии. Не выработав своего цельного отношения к окружающему, не определив своего места в мировой и общественной жизни, они не могут отдаться практической деятельности: не удовлетворение, а нравственное страдание доставит она им, душевную раздвоенность и мучительную бесплодную борьбу с самим собой... Они не чувствуют себя вправе жить, не зная, зачем они живут. Таков Сережа».

Моя мать прочла это место из моего письма Сергею Николаевичу, и он писал мне в ответ: «Под Вашей характеристикой моей особы подписываюсь руками и ногами, и очень, очень мне дорого, что так верно, правдиво Вы поняли меня, хотя мы никогда, кажется, не подходили друг к другу вплоть, близко и тесно...»

Насколько тяжело переживал Сергей Николаевич свой отход от революционного прошлого, от друзей, связанных с этим прошлым, видно из следующих заключительных строк его письма к моему отцу: «Я глубоко несчастен сейчас. Я болен, но моя болезнь духа, а не тела, – та болезнь, в которой, может быть, больше здоровья, чем в ином здоровье здорового человека. Мне горько остаться одному, отойти от близких мне людей (а одним из них были Вы), но лучше для меня, если останусь я совсем один, если я уйду от Вас и всех других, чем если б я остался с Вами, поверив в кредит Вашей старой правде и истине. Пусть моя дорога будет узка, терниста, извилиста, но лучше идти своей тропинкой, чем чужой большой, пыльной, утоптанной дорогой!»

Я вернулась в Москву 3 августа 1907 года. Сергея Николаевича в это время в Москве не было.

8 августа я видела его в первый раз после моего возвращения из-за границы. Серьезно я с ним ни о чем поговорить не успела, но по нескольким его словам поняла, что он действительно ушел от жизни в какой-то свой мир. Я задавалась вопросом: «В какой? Куда? Кто прав – он или отец?» С каким-то неприятным оттенком говорил он о розни, которая возникла в последнее время между старым и новым поколением.

Сережа обещал познакомить меня со своим лучшим другом Волей Разевигом, студентом 1-го или 2-го курса Московского университета, товарищем Сережи по гимназии, и его сестрой Надей³⁶.

О Воле он выразился как об интересном и самостоятельном в своих воззрениях человеке, оказывающем в некоторых отношениях влияние даже на него, Сережу, а про Надю сказал, что она совсем еще девочка.

Я не сразу сориентировалась среди нового для меня настроения молодежи, совершенно иного, чем то, которое царило в обществе в момент моего отъезда за границу. Новое поколение действительно ушло от «жизни», если понимать под этим словом то, что понимал мой отец, в какой-то иной мир личных переживаний, мистических настроений, искания новой свободы, новых истин. Процветал спиритизм и всевозможные общества на эротической подкладке, вроде общества огарков. Старшие набросились на воспитание детей...

Я чувствовала себя между двух лагерей: от старших я отошла, а к молодым не знала, как подойти. Жизнь их была для меня пока загадкой. У Разевигов я чувствовала себя как-то странно: легкая болтовня, спокойное настроение, Волина игра на рояле (он немного играл самоучкой), разговоры о новых поэтах – Сережа часто читал их нам вслух, – как все это было не похоже на то, что я оставила в России, уезжая за границу. Тогда все думы, интересы, разговоры, вся жизнь сосредоточивалась на одном, теперь рассеивалась на многое.

Первое время после моего возвращения я не часто виделась с Сережей. Мне очень хотелось тогда узнать и понять, чем живет Сережа. Но на мои слова он отвечал, что часто лучше молчать, ибо никогда не будешь понят так, как хочешь... Он приводил в пример Христа и Ницше, которые были не поняты... Мне Сережа казался тогда очень странным: с разными людьми он разговаривал как будто на разных языках, и получалось так, что люди самых разных направлений считали его за своего единомышленника. Мне это не нравилось, и я задавала себе вопрос: «Искренен ли он?» Я была тогда слишком юна, прямолинейна и неопытна, чтобы понять всю сложность, многогранность и противоречивость такой природы, как Сережа. Много помог мне в этом Воля. Как-то раз мы возвращались с ним вместе от Сережи, и я высказала ему мои сомнения относительно Сережиной искренности. Воля горячо вступился за Сережу и развил целую теорию насчет того, что у каждого человека бывает центр и периферия и что

величина и оригинальность центра может служить мерилем людей. «У Сережи, – говорил он, – периферия очень разноцветная и многогранная; к разным людям он поворачивается различными сторонами ее, и не его вина, что они одну такую сторону принимают за все; от этого и происходят ошибки в суждении о Сережином характере и взглядах. И только очень немногие люди знают его настоящую сущность, его центр. Центр же у него есть, и очень большой и оригинальный, и это видно хотя бы из того, что Сережа постоянно развивается все в одном направлении... Часто впоследствии, когда я уже гораздо лучше и глубже знала Сергея Николаевича, мне приходилось встречаться с мнением людей, знавших его поверхностно или даже понаслышке, что он неискренний человек, и я всегда старалась опровергнуть и рассеять это предубеждение. В те годы, вероятно, вследствие мучительной внутренней борьбы, Сережа действительно сжимался, как улитка, уходил в себя, замолкал при встрече с людьми далеких и чуждых ему воззрений. В споры он вступать не любил и всегда как-то затаивался в себе. Боялся он довериться и мне, и на мои старания вызвать его на откровенные высказывания отвечал мельком и с неохотой.

Это была весна 1908 года. Воля и Сережа преподавали в группе подготовки на аттестат зрелости, которая была организована в меблированных комнатах на Мясницкой, Воля – латынь, Сережа – русский язык. Я занималась там у Воли по-латыни, туда ходил и мой брат Виктор, и нередко после уроков мы оставались и беседовали на разные темы.

Этой весной я часто бывала у Разевигов, где также иногда встречалась с Сережей <...> 3 мая 1908 года я ездила к нему в гости в имение Чернышевых³⁷, у которых он должен был провести лето. Он приглашен был туда преподавателем к старшим детям Сергея Ивановича Чернышева. Мы с Сережей долго гуляли по зеленой лужайке; разговаривали о Мережковском и других современных писателях. В разговорах со мной Сережа часто говорил, что современная эпоха даст миру что-то совсем новое. <...>

С начала августа и до 20-х чисел я жила у Разевигов, пока наши не вернулись из деревни. <...> К Разевигам иногда заходил Сережа.

Как-то раз он пришел в отсутствие Воли; мы сидели с ним вдвоем в Волиной комнате. Сережа читал мне некоторые стихи Пушкина. Вдруг почему-то заговорили о вере. Сережа только что вернулся из Соловецкого монастыря.

– Какая страшная сила вера, – тихо произнес Сережа, – сколько веры мне пришлось видеть там!

Я насторожилась с любопытством, у меня мелькнула мысль о чудесах.

– Нет, не исцелений, – улыбнулся Сережа, угадав мою мысль, – а так, вообще. Вот, например, там камень есть, на котором Филипп³⁸ спал. Так одна старая-старая старушка пришла, вся сгорбленная, сморщенная. Долго молилась на него, потом попросила ей его на голову положить.

– Ну и положили? – с изумлением воскликнула я.

– Ну, поддерживали, конечно, но вера-то какая!

Сережа заговорил о том, что для такой веры цельность нужна, а человеческой природе она несвойственна, человеческая природа вся из противоположностей состоит.

– Да, вот постойте, – прибавил он, – я вам мое стихотворение прочту, оно так и называется «“Да“ и “нет“».

Он взял клеенчатую тетрадь со стола и стал читать. Стихотворение само по себе, может быть, было и не очень хорошо, но мысль, идея были чрезвычайно близки моему настроению за последнее время, и я не могла не выразить своего восторга.

– Сережа, давно вы додумались до всего этого? – спросила я.

– Года полтора.

Потом мы опять заговорили о Пушкине. Сережа вертел в руках новое роскошное издание Пушкина.

– Ах, какая это книга! – воскликнул он. – Ведь за эту книгу можно все отдать. Если бы меня лишили всех книг на свете и оставили мне одного Пушкина, я мог бы жить. Ведь такого поэта никогда еще не было... такого человека, как Пушкин, уже не будет... Он в себе Бога и черта соединил.

И Сережа добавил, что любовь к Пушкину может быть мерилom человека. <...>

Сергей Николаевич в те молодые годы отличался крайним пристрастием как в положительную, так и в отрицательную сторону в своих отношениях к фактам и людям, в особенности под влиянием минутного настроения. Помню, как однажды он до неприятности резко высмеивал перед одним своим товарищем Льва Николаевича Толстого, которого впоследствии, а может быть, и тогда уже, и в особенности после личного свидания, глубоко ценил, любил и уважал. Многое мне было в те годы непонятно в Сергее Николаевиче. Мне казался он каким-то противоречивым, ускользающим, то мягким и добрым, то насмешливым и едким. Он казался мне загадочным, непонятным и чуждым. И я побаивалась его и, по правде сказать, недолюбливала. Ближе подошла я к нему, поняла и оценила его уже в последующие годы. Тогда же мне очень хотелось «проникнуть в его сущность», как я выражалась, и до конца понять, в чем же заключается его «правда», о которой он говорил, его «центр», по выражению Воли.

Я не вытерпела тогда и специально поехала в «группу» (6 октября 1908 года), где Сережа давал урок, чтобы поговорить с ним. По окончании урока Сережа предложил мне пройти на бульвар. Мы долго бродили с ним, сейчас уже не помню, по какому именно бульвару. Я любила разговаривать, бродя по улицам вечером, при свете фонарей. Тогда говорится как-то особенно интимно. И Сережа мне много рассказывал о себе, о своих переживаниях – в первый раз так откровенно. Я слушала молча, изредка задавая какие-нибудь вопросы. Мне многое осталось неясным из того, что он говорил, но я боялась его расспрашивать: Сережа так всегда пугался всякого непонимания, несогласия. Он говорил об умении «жить в самом себе», о непонимании и чуждости людей, об одиночестве, о свободе, о том, что это прекрасно и что в этом большое наслаждение. Говорил, что «чувствует трепет жизни». Мне трудно было тогда говорить с Сережей. Мне казалось, что у него какая-то предубежденность ко всем людям; у него был такой вид, точно он познал что-то такое, чего никто не знает, до чего никто не додумался.

Как-то раз он пришел к нам в октябре. <...> Заговорили о Пшибышевском³⁹. Сережа назвал его писателем иррациональным. Я спросила, что это значит. Он объяснил мне так: рационалистами он называет тех, которые измышляют всякие средства для уничтожения страданий человеческих. Они верят, что стоит только уничтожить такие-то и такие-то неустройства общественного строя, построить жизнь на новых началах, как получите всеобщее благоденствие и счастье. Не было до Пшибышевского ни одного романиста, например, который строил бы трагичность любви не на каких-либо социальных противоречиях, а на внутренних трагических столкновениях, которые лежат в самом этом чувстве. Трагедия любви и смерти – вечная трагедия человечества, которой не победить никакими средствами человеческими. <...>

Как-то в декабре 1908 года я виделась с Сережей. Мы шли с ним из родительского собрания (клуба свободного воспитания, где Сергей Николаевич состоял членом⁴⁰). Сережа пошел проводить меня Никитским бульваром до Арбатских ворот. Был чудесный вечер. Деревья были все в инее и между ними кое-где светились фонари. Было весело, и Сережа болтал глупости о какой-то «сердарде»⁴¹. Я радовалась, что он стал со мною проще и доверчивей. Он обещал читать свое новое произведение, которое писал, читать в первый раз только мне, Наде и Воле.

1909 год

<...> Сережа уже давно говорил мне, что пишет что-то, что никому заранее не было известно. Сколько я ни допытывалась, он не рассказывал ничего, я не знала даже, что это – что-нибудь научное или беллетристическое. В конце декабря 1909 года я была приглашена

к Разевигам. Кроме Воли, Нади и меня, не было никого. Мы собрались в Надиной комнате. Я и Надя уселись на кровати, Воля лег на кушетку, Сережа сел к столу (спиной к нам). Мы ожидали с нетерпением.

– «Дон-Жуан. Драматическая поэма», – провозгласил Сережа и стал читать.

Мне трудно даже высказать, до какой степени мне это показалось прекрасным. С каждой сценой настроение все повышалось, напряжение возрастало... С каждой сценой я думала, что это последнее по глубине и силе, и каждый раз ошибалась: Сережа вел нас все дальше, все выше, точно по ступеням какого-то восхождения, так что дух захватывало.

Это была только первая часть поэмы⁴². Во второй, по словам Сережи, должен был участвовать ад и рай. Но вторая часть поэмы, кажется, так и осталась ненаписанной.

16 января 1909 года я была на лекции Сережи в родительском клубе о писателях для детей. Он упомянул с одобрением рассказ Куприна «Палач». Родители восстали на Сережу: как можно рекомендовать детям рассказ, в котором палач выставляется хорошим человеком?

Я понимала, что ответить на этот вопрос по существу можно было только из глубины религиозных и нравственных взглядов. Это было больше, чем педагогика и художественные вкусы только. Я с волнением ждала, что скажет Сережа. Сначала мне показалось, что он хочет уклониться от ответа, да, должно быть, это так и было: видно, очень неприятно ему было затрагивать этот вопрос. Но, раз затронув, он пошел до конца. Он говорил о другой правде, чем та, которая выдвинута у нас сейчас в России времен, он говорил о правде Евангелия и Христа, Который разбойнику сказал: «Сегодня же будешь со Мною в раю!» Он упрекнул современное общество в том, что оно привыкло судить человека по мундиру, надетому на нем, дальше которого оно заглянуть не умеет. Это был вызов всему почтенному педагогическому собранию, и так это было понято: в зале было шумно, раздавались негодующие возгласы. Я видела, как волновался Сережа, как дрожали его руки, но сколько серьезности, искренности и благородства было в нем в эту минуту! Это был не прежний Сережа, а новый, смелый и свободный.

Он закончил словами: «Не знаю, господа, может быть, я этим окончательно подрываю мою репутацию как педагога, но я не могу иначе...» Он несколько раз взглядывал на меня, а когда кончились прения, подошел ко мне, протянул руку, я крепко ее пожалала...

О замечательных педагогических способностях Сергея Николаевича, совершенно выходящих из общепринятых понятий и норм, лучше и полнее меня расскажут его ученики, но случай столкновения Сергея Николаевича с общим мнением родителей показывает, насколько самобытен и индивидуален был он в своих воззрениях на воспитание в человеке человечности и с какой смелой решимостью отстаивал он свои взгляды.

С этого вечера наступило изменение в моем отношении к Сергею Николаевичу: какая-то неловкость, стесненность, отчужденность, непонимание исчезли, общение с ним стало проще, легче, непосредственной. С того же вечера началась моя переписка с Сергеем Николаевичем. Он не удовольствовался личной беседой. Он имел обыкновение записывать, часто на клочках бумаги, дома, где-нибудь на собраниях, то пером, то карандашом, мысли, чувства, настроения, иногда приходящие ему в голову стихи, и письма его поэтому не имели характера обычных писем, а скорее какого-то продолжающегося дневника. Он и сам в одном из писем писал мне: «Это все заметки, пишу точно самому себе...»⁴³.

На другой день после описанного заседания в родительском клубе, 17 января 1909 года, он писал мне: «Вчера я в каком-то необычайно светлом, по-весеннему легком и радостном настроении возвращался домой на трамвае. Есть минуты и часы, когда кажутся точнейшей, подлиннейшей правдой такие слова: „одухотворенная плоть“, „духовная телесность“, и есть слишком частые и многие часы, когда душу и мысль можно назвать “оплотившейся душой и мыслью” – так она тяжка, земна, неподвижна. Первые часы редки и прекрасны, вторые – часты и отвратительны. Про себя скажу, что $\frac{3}{4}$ моей жизни именно эти часы. Когда же наступают те – та $\frac{1}{4}$, – я забываю себя и $\frac{3}{4}$, и ощущение светлой радости заливаает меня; кажется, тогда все тело

словно пронизывается лучами света невещественного – и тогда я подлинно верю и знаю, что нет смерти, нет тления, а есть вечное преображение. Мы заключены в пелену порока, увиты ею, но она не одно, что есть. И когда я думаю о ней, я знаю, что так надо, так надо... Солнце горит среди хаоса тьмы, безобразности, холода небытия – так надо, дух и радость скрыты пеленой праха – так надо; любовь сопряжена с обманами, похотью, грязной властью тела – так надо. И надо еще: пронеси, солнце, свои лучи сквозь хаос и небытие – оно пронесит; дух, освяти себя и выяви себя чрез пелены тяжкие – и Гёте создает „Фауста“. Любовь, пройди через теснины порока, тлена – и она идет, и идущий с нею восклицает:

...С каким восторгом я
Сквозь ярость и мятеж борьбы, внимая кличу,
Бросался в бой страстей и в буйство бытия,
Чтоб вынести из мук – Любовь, свою добычу.

Пусть эти слова и всякие вообще слова не до конца выражают то, что надо, я не боюсь этого, я знаю:

Не до конца правдива наша правда,
И вымысел наш ложь не до конца.

Я выписал эти два стиха из моего „Дон-Жуана“ эпиграфом ко всему, что я думаю, говорю, пишу, делаю: и я склонен поставить его не только перед тем, что делаю я сам, думаю и т. д., но и перед тем, что думают и т. д. все». <...>

29 января 1909 года, в четверг, я опять была у Сережи. Мне хотелось ответить ему лично на очень трудный вопрос, заданный им мне во втором письме, которое он мне прислал вскоре после первого письма. Он просил сказать ему откровенно, так, как сказал бы Миша, часто ли я чувствую в нем «разговор, литературу, словесность проклятую, и когда». Сережа писал, что оттого, что он сам думает, что она в нем есть, он иногда боится многое делать, лжет, избегает прямых ответов. Этот Сережин вопрос и признание многое объяснили мне тогда непонятного в его поведении, в его отношениях с разными людьми, в том, что многим он казался неискренним. Но, зная, как он сжимался, словно мимоза, от малейшего не деликатного прикосновения, я не решилась отвечать ему на его вопросы. Да, по правде сказать, я и сама не отдавала себе ясного отчета в его сложной психологии. Мы встретились с ним как-то смущенно и не возвращались к этой теме. Напившись чаю, мы перешли в его комнату. Он прочел несколько стихотворений, своих и чужих. Должно быть, в них был какой-нибудь религиозный смысл – теперь не помню, но разговор перешел на религиозные темы. Заговорили о вере в бессмертие. Сережа стал рассказывать, до какого отчаяния доходил он, когда еще не верил в бессмертие, как тосковал он при виде всей безысходности этой жизни, как охватывало его полное равнодушие и к хорошему, и к дурному, когда сознавал он, что перед лицом смерти равны все – будь то величайший святой или последний негодяй, что впереди для всех одно – лопух. И ничего больше. «Вот и вся жизнь Миши была одним страстным порывом выйти из этой жизни куда бы то ни было», – сказал между прочим Сережа. Он долго говорил, очень долго, и по мере того, как говорил, все больше волновался. Он говорил о том, как вера перевернула весь его взгляд на жизнь, на мир, на все. Он рассказал, как в Соловецком монастыре были заключены прежде разные сектанты, раскольники. Многие из них просидели по 30, 40, 60 лет, и не только просидели, но о многих из них под конец жизни было написано: «Не раскаялся!» «Вот какая вера-то бывает!» – заключил Сережа.

Помню, что наш разговор Сережу утомил и взволновал ужасно. Бледный, он замолчал, подошел к столу и сел. Я почувствовала, что надо уходить. Мне не хотелось, но я сделала над

собой усилие и встала с кровати, на которой сидела. Сережа вышел со свечой в сени проводить меня.

В том же письме Сергей Николаевич писал: «Скажите русскому интеллигенту, что вы верите в Бога, достоверность и истину поэзии и искусства считаете выше, чем истину научную, – он вам сейчас же заявит с решимостью школьника, что „Господь есть род кислорода, вся же суть в безначалье народа“, что у Пушкина хороший стиль, но мыслей у него нет, а у Максима Горького мысли, что Фейербах и Дарвин доказали, что Бога нет и Христос не воскрес, и проч., и проч. Теперь я понимаю, что русским интеллигентам стереотипного издания нужно забыть Достоевского, Толстого, Мережковского, чтобы на вольном воздухе ругать декадентов, ставить дилеммы (глуп я или Мережковский?⁴⁴), тарашить глаза на людей, осмеливающихся заявлять, что не только Бог есть, но и Христос воскрес, и мы бессмертны.

Какой-то мерзкий черт водит их за нос!

Я не говорю, что всем надо сразу, вот теперь, поверить и уверовать. Пусть не верят! Если не могут быть Петром и Иоанном, пусть будут Фомой, но Фомой – не Смердяковым, который, прочтя сказки Гоголя, с неудовольствием заметил: „Про неправду все написано!“⁴⁵».

Наша квартира с башней находилась в двух шагах от «Бережков» – набережной Москвы-реки с крутым высоким берегом, откуда открывался далекий вид на Москву-реку и Замоскворечье. Мы любили ходить туда гулять, подолгу сидели на верхушке горы, любуясь расстилающимся видом. Иногда и Сергей Николаевич ходил с нами. Он любил моих братьев. <...> В письме от 11.03.1909 года Сергей Николаевич пишет: «Какой вчера хороший был вечер!.. <...> Вот вчера я бы не мог спорить о Боге, о всем трудном, тяжелом, большом, что разъединяет людей, кидает их в умственный поединок, драку. Был Бог, невидимый, тихий, не требовавший речей и споров, но тишины и мира.

Мы все, как Глебка, слушающий Брюсова: „Я не понимаю, но мне нравится!“ – и в таком непонимании, может быть, самое большое возможное понимание: тут подлинная „уверенность в невидимом как бы в видимом“, “вещей обличение невидимых“!

Прежде я боялся тайны, неведомого, ночи, теперь я люблю их – они родные человеку, может быть, больше родные, чем день и дневная ясность. В ночи совершилось и совершается таинство бытия и жизни, мировое творчество. Душа – таинница, дочь тайны, но не сокрушающей человека, а возвышающей и укрепляющей: ночь и день – одно, явь и тайна – одно, и оба лица мира и Бога надо любить: лик дня светлый и темное лицо ночи. И я не знаю, что больше из них люблю...

Я в последнее время очень полюбил Гоголя и чувствую какую-то близость к нему. Думаю 20-го пойти на его могилу и сказать несколько слов о том, что Г. (Гоголь. – Т. Б.) – первый русский мыслитель-искатель...

Надо запоминать в сердце, памятью сердца, каждое светлое мгновенье, чтобы потом этим запасом жить, когда придут черные дни и часы». <...>

Как поразительно умел Сергей Николаевич иногда видеть человека. Говорю «иногда», потому что Сергею Николаевичу с его темпераментным отношением к людям часто свойственно было и ошибаться в них в ту или другую сторону. Нередко он переоценивал качества людей, а бывало, и вкладывал в них такие качества, которых в них вовсе не было. <...>

Этой весной мы все увлекались танцами Дункан. Сергей Николаевич, кажется, не пропускал ни одного представления. Один раз мы были с ним вместе на Дункан. Во время антракта в фойе встретили Бориса Леонидовича Пастернака, который был хорошо знаком и дружен с Сергеем Николаевичем. Со свойственной ему непосредственностью и темпераментностью, он так и набросился на Сережу.

– Мы все преступники! И я преступник! – кричал он, размахивая руками и точно забывая, где он. – Как они могут жить, как могут двигаться, оставаться такими же! – указывал он на публику. – Ну, как вы ходите?! – почти с болью воскликнул он, взглянув на Сережу.

– Он удивительно верно понял, – говорил мне после Сережа, – не слова оскорбляют, сами жесты, движения оскорбляют.

Числа 20 апреля 1909 года Сергей Николаевич уехал с Чернышевыми, детям которых он преподавал, на лето на дачу. 20-го же числа он писал мне: «Я даже рад теперь, что уезжаю и долго буду один. Не потому, чтоб теперь я хотел быть один, но потому, что нужно мне быть одному, что-то отмирает во мне, чему нужно было отмереть, и что-то зреет и зарождается, чему нужно было родиться. Пусть же совершится все это в тишине, пусть отстоится на душе и исчезнет вся муть, нанесенная годами!...» <...>

27 апреля, от Чернышевых, Сергей Николаевич писал мне: «Читал я здесь умную и превосходную книгу – „Письма А. И. Эртеля“. Это не литература и поэзия, а подлинные переживания, сырые, как были, так и есть... И вот что он пишет...»

Далее Сергей Николаевич приводит выписку из письма Эртеля, в котором автор рассказывает, как оборвалась у него «дружба» со многими людьми, возникшая на почве общих литературных, политических и других интересов отвлеченного свойства, оборвалась потому, что изменились его интересы и симпатии, и близкие отношения остались с тремя или четырьмя, т. е. «с теми людьми, которые любили и любят меня и интересуются мною не потому, что я писатель, или общественный деятель, или человек таких-то политических убеждений, а просто потому, что любят, что есть между (нами) какое-то созвучие, что называется личными симпатиями»⁴⁶.

И Сергей Николаевич добавляет: «Я хотел бы только так относиться к Вам, Воле, Косте (Толстову. – Т. Б.), Ив. Ив. (Ивану Ивановичу Кулакову. – Т. Б.) и еще одному-двум людям. И хочу, чтобы Вы – разумеется, если можете и в силах, – так же относились ко мне».

9 мая, по приглашению Сережи, я с Волей ездила к нему в Пирогово⁴⁷ в гости (к Чернышевым). Мы гуляли в лесу. Был прекрасный весенний день. И как-то странно и больно мне было видеть среди природы, ликующе пробуждающейся для жизни и радости, их медленно движущиеся фигуры: Волю в неуклюжей длинной студенческой шинели и Сережу в драповом пальто, сгорбленного, слабого – и слушать их разговор о соблазнительности монашеской жизни, о темной келье с образами и лампадками, о тихой, размеренной, медлительной жизни, о бесконечном познании – так не гармонировало это с окружающей природой.

Дома Сережа рассказывал нам о письмах Эртеля, о чем писал мне раньше, и, между прочим, заметил: «Нет ничего интересней, как частные письма! В них больше всего человек рассказывает, со всеми изгибами... Я когда-нибудь соберу у знакомых свои письма...» <...>

Этим летом Сергей Николаевич совершал путешествие по Волге, Каме и на Урал; путешествовал он, по-видимому, с Чернышевыми. <...>

В первых числах июля Сережа вернулся с Урала и 8-го был у нас. Мы ходили в Новодевичий монастырь: Сережа, брат Виктор и я; побывали на могилах Чехова и Соловьева. Когда вернулись, пошли все на башню. Завязался разговор о творчестве жизни. Я сказала, что совершенно не понимаю, как можно проводить всю жизнь с книгами, в четырех стенах, вдали от жизни, как это делает Воля. Сережа стал отстаивать такую жизнь. Разговор перешел к художественному творчеству. Сергей Николаевич высказал мысль, что, может быть, все истинные художники должны уходить от этой повседневной борьбы, которую мы называем «жизнью». Брат, который очень интересовался эту зиму литературой, сейчас же спросил у него, кто, по его мнению, более прав: Брюсов, сказавший «творите свою жизнь», или Блок – «творите свои строчки»? Сережа ответил словами Брюсова же:

Быть может, все в жизни лишь средство
Для ярко-певучих стихов...⁴⁸

И сказал, что вполне понять это может только поэт. Те, которые задавались в жизни иными требованиями, нравственными или религиозными, кончали тем, что уходили от искусства, как Гоголь, Толстой. Может быть, исчезнут религиозные сомнения, идеи, борьба Соловьева, Мережковского, Достоевского, но не исчезнет, вечно жить будет Гомер, Шекспир, Пушкин.

В эти годы Сергей Николаевич все больше и больше осознавал свое призвание как поэта. <...>

Конец 1909–1910 год

И некоторое время спустя, в одном из писем он приводит стихотворение В. Брюсова, о котором говорит, что «как будто написал его» он сам:

Мой дух не изнемог во мгле противоречий,

Не обессилел ум в сцепленьях роковых.

Я все мечты люблю, мне дороги все речи

И всем богам свой посвящаю стих⁴⁹.

И делает такое признание: «Так я жил и живу. Может быть, как человек, я теряю от этого, – и даже наверное, и много теряю в глазах тех, кто любит, чтобы к человеку прикладывался вполне аршин – все равно какой: религиозный, нравственный, общественный, семейный и проч. Но как поэт – а все-таки я поэт! – я до тех только пор поэт, пока я люблю „мглу противоречий“, „люблю все мечты“. И ни для кого я не откажусь от права быть поэтом, права любить все „мечты“ – и те, что “телесней“, и те, что – как тени»⁵⁰.

Он вспоминает при этом один свой рассказ под заглавием «Юноша», в котором рассказывается, «как юноша полюбил готового умереть Бога не за то, что Он – Бог и Христос, а за то, что Он прекраснее всех», он полюбил его той мечтой, «что ярче, что телесней...»⁵¹.

Внутренний конфликт между религиозными устремлениями и творческим призванием, изведенный многими русскими писателями, был пережит и Сергеем Николаевичем и зародился еще в те ранние годы, о которых я рассказываю.

Сергей Николаевич писал как-то мне: «Полнее всего в области мистики и метафизики для меня Бог является через Христа и в христианстве, – но я, как ни несомненно верю в воскресенье и в бессмертие, согласен где-то, в самом кончике моего разума признать относительность и этого учения».

Эта внутренняя борьба двух различных, и даже противоположных, стремлений его духа с годами все возрастала. Она могла бы быть особой темой в биографии Сергея Николаевича, но в годы 1909–1913 безусловно преобладала тяга к поэтическому, художественному творчеству над религиозными исканиями. <...>

В эти годы Сергей Николаевич был очень близок с Борисом Леонидовичем Пастернаком. Борис Пастернак писал тогда какую-то литературную вещь, и Сергей Николаевич не раз говорил мне, что это нечто удивительное по силе и оригинальности. Он считал Пастернака гениальным и всегда выделял его из всех знакомых талантливых юношей-поэтов. Помню, как-то раз Сергей Николаевич в разговоре со мной об искусстве и творчестве заметил, что искусство требует от художника строжайшего и труднейшего подвига самоограничения.

Часто у Сергея Николаевича были моменты неверия в свои творческие силы, что связывалось у него и с разуверением жизненным, более глубоким, чем разуверение только в творчестве. «А искусство – творчество! – писал он мне как-то. – Я ненавижу иногда все, что написал. Я почти не верю в себя, не в себя, а в то, что в себе чую кого-то. Я писал на днях Воле, и это

правда: „Я чувствую, что перестаю ждать. Мне кто-то когда-то шепнул: „Жди. Я приду. Я буду. Я приду“. Не обещая, кто-то обещал мне прийти. И вот, что бы ни было со мной, я ждал. Про все я думал: „пока“... И вот больше и больше вижу, что не меня обманули – я обманул себя ожиданием – ничто не придет“».

И далее идут замечательные строки, приоткрывающие внутренний мир не одного только Сергея Николаевича, но многих и многих из людей нашего поколения: «О, конечно, тут не мое одно несчастье и не мой один грех! Все мы, русские мальчики, поверив чуду, ждали, что вот оно над нами первыми совершится, первые мы увидим Пречистый Лик, любовь наша и творчество наше приведут чудом к тому, что нам засветит вожденный голубой взор и, засветив, навсегда осветит нас и тех, кто любим нами, и наше – может быть, главное всего „наше“, ибо правда ведь, что „полюби не нас, но наше“... И вот мы наказаны за это – все, от талантливых, гениальных, просвещенных до самых простых, темных, немудрых, от Белого и Блока до Северного⁵² и Воли...

Увидеть первый зачаток восхода, первую погасшую перед солнцем звезду, заметить и уже ждать, уже требовать почти, уже кричать с радостью, что солнце нам всходит – вот наш грех, вот наша кара; солнце для нас не взошло... Это не случайно, это не только литературная неумелость, это не бездарность моя, что я не мог написать второй части „Дон-Жуана“, что руки от нее отваливались, бумага становилась камнем, на котором тяжело было писать, ибо надо было чертить. 1-я часть – ожидание чуда, луч, принятый за восход, за уверенность восхода, уже предторжество восхода. И вот все отнято: даже поэма, даже стихи...

В один месяц написать несколько тысяч стихов и затем в два года два слабых наброска – это, конечно, наказание, предостережение...

Но ведь так не в одних стихах. Что стихи! Бог с ними! Я ведь комнатный стихотворец, я не выхожу с ними из комнаты. Страшно то, что так и в жизни! Вместо радостной чаши с вином – урна с пеплом. Тут ведь Белый только выразил, что и во мне, и в Воле, и в ком еще...

Я делаюсь далеким и чужим самому себе. И на то, что пишу, я смотрю, как на чужое, постороннее. Мне бывает жалко того, кто это все написал, и мне бывает скучно от написанного, мне каждая строчка говорит: „не то“, „не то“». <...>

Сергей Николаевич делает предположение, что на основании этих написанных им строк можно подумать, что ему «нестерпимо скучно, пусто, тяжело жить, – и жить не хочется», и пишет далее:

«Нет. Никогда я еще не чувствовал себя крепче прибитым к земле, как теперь. Кажется, кто-то, как ребенка к стулу, привязал меня к ней. И я знаю, что не отвязусь, потому что и не хочу отвязаться. Я слушаюсь кого-то, кто привязал меня. Меня рвет иногда от действительности, мне кажется, что на меня дышит и хочет задушить меня дыханьем бесконечное, многоногое человеческое мясо – и все-таки я буду жить, выпью воды, пройдет рвота, и я не отрицаю ничего в жизни...»

Признания, сделанные здесь, замечательны: о каком «голубом взоре» говорит здесь Сергей Николаевич? Ответ на это всякий читатель найдет в его статье «Судьба Лермонтова», написанной, кстати сказать, за несколько месяцев до вышеприведенных строк. Статью эту Сергей Николаевич впервые прочел у нас, в нашей семье, во второй половине марта 1910 года. Позднее он читал ее в виде доклада в Религиозно-философском обществе памяти Вл. Соловьева в Москве, и в 1914 году она была напечатана в десятой книге журнала «Русская мысль» за этот год⁵³. Совершенно несомненно, что в каких-то недостижимых глубинах человеческого духа Сергей Николаевич был чрезвычайно близок к Лермонтову, что и дало ему возможность прозреть и выявить в творчестве поэта то, что до него не увидел никто. В летние месяцы 1910 года Сергей Николаевич каждый день бывал в Румянцевской библиотеке (теперь: Библиотека имени В. И. Ленина⁵⁴), читал о Лермонтове, о Гаршине и многое другое, что, по его словам, зимою не

пришлось бы прочесть. Приблизительно в это же время или немного ранее (весною 1910 года) я, заходя к нему, видела у него на столе огромные старинные фолианты: жития святых, творения Отцов Церкви. И часто я думала тогда, что Сереже не миновать раздвоения между религией и искусством. Сергей Николаевич в это время завел знакомство с каким-то архимандритом в Кремле⁵⁵ и, помню, как-то раз пригласил меня и Сашу Ларионова⁵⁶ пойти посмотреть, как варят миро. Самая процедура варки: громадные котлы под красным балдахином, дьяконы в черных бархатных одеждах с серебром, мешающие в котлах громадными ложками с ручками, обтянутыми красным бархатом, и сильный опьяняющий аромат – все это произвело на меня ошеломляющее впечатление и казалось каким-то древним восточным волхвованием. Кажется, в этот день, а может быть, несколько дней спустя, мы с Сергеем Николаевичем были у Саши Ларионова, и там, между прочим, велись бесконечные разговоры о «стихах», о «рифмах», о «ритме», «певучести стиха», о старых и новых поэтах и т. п. Это было время крайнего увлечения стихотворством, когда, кажется, не было ни одного молодого человека, который не писал бы стихов, не воображал бы себя избранником муз, не занимался бы исследованиями «ритма» в своих и чужих стихах. Это было время «Мусагета»⁵⁷. Но, кажется, в то время Сергею Николаевичу самому уже стали надоедать эти бесконечные разговоры о стихах; по крайней мере, мне он говорил не раз в то время, что скоро даст обет не говорить больше о стихах, и прибавил, что единственное, чего надо просить у Бога, – это не счастья, не мудрости, а только простоты. Он писал мне:

«Мы любим длинные разговоры, открытия души, мы любим мысли, идеи, слова человека, но сам человек остается где-то далеко, в стороне, болеющий, тоскующий, изнемогающий в лжи, заботе, труде, самоотрицании действительности – человек. Мы любим праздники и не выносим будней. Ибо мысль, идеи, беседа – это праздник, а вот темные, тишайшие, долгие часы повседневности, забот, тоски, житейскости, часы неизбежные, часы решающие, злые, могучие, – будни. И их мы не хотим знать в другом». <...>

В июне 1910 года Сергей Николаевич ездил на некоторое время в Ростов и Углич осматривать русскую старину. Он любил Россию не в какой-либо ее части, а всю ее, в ее искусстве, литературе, истории, как любил ее и в ее природе.

По возвращении остаток лета он, как обычно, проводил в Пирогове у Чернышевых. Это время было для него временем глубокой критической проверки самого себя, какого-то внутреннего ответа самому себе. В августе он писал мне оттуда: «Опять осень. Я оживаю. Продают яблоки. Они крепкие, круглые, пахучие. Лето для меня прошло томительно. Я не находил себя. Ничего не сделано. И, может быть, никогда ничего не будет сделано. Но легче, когда ясные, немного туманные, тихие осенние дни, простая тишина вне тебя и внутри – и все представляется простым, спокойным, решенным. Кому-то вверяешься и, покорствуя, ничего не ждешь.

В сущности, это – мое основное жизненное настроение. Несмотря на мою далеко не мирную юность, вопреки всем моим увлечениям, вопреки, скажу без всякого преувеличения, всем моим грехам, я ищу и искал религиозной внутренней покорности. Я мирный и мир любящий человек. Я правдивее, истиннее, лучше бываю тогда, когда проще, тише, смиреннее, покорнее. Я скор на осуждения, я склонен к некоторой резкости, но нет ни одного моего осуждения, которого я не осудил бы. Я не могу рассориться ни с кем. Даже с людьми, явно мне враждебными, я никогда не разойдусь окончательно. В моей природе, несовершенной и бедной, как только подобает несчастному русскому мальчику несчастной поры, есть мягкость, русское мягкосердечное, слабое, нетребовательное к себе и другим, недеятельное христианство. Оттого, может быть, я и в природе люблю тихое, покорное, изнемогающее время года – осень; оттого я склонен к мистическим чувствованиям, неопределенным, нетребовательным, не люблю ничего рационалистического (а оно всегда определенное, ясное), резкого, отвращаюсь от всякой математики и влекусь ко всему аматематическому. Конечно, я ничего не сделаю в жизни, конечно, я не сумею быть до конца поэтом, историком литературы, критиком, педагогом, как уже не сумел

быть общественником, отрицателем, толстовцем и т. д. и т. д. Но это мое неумение, пожалуй, моя лучшая черта, и я, лучший я, я – невежественный, горячий, смешной, я ненавижу в себе последние остатки „дельца“, „рационалиста“, „деятеля“, „активника“, „оконченного человека“: поэта, педагога, критика и т. д. Я боюсь своей „деятельности“ и мое „неделание“ – лучшее во мне».

Нельзя было лучше выразить настроение и душевное состояние того периода жизни Сергея Николаевича, чем это сделано им самим в этом письме. И нечего прибавить к нему. Ясно, что такая многообъемлющая натура, как Сергей Николаевич, не могла вместить себя в какое-либо одно жизненное призвание, избрать какой-либо один определенный путь. Самому ему, может быть, было тяжело от этого, но русская культура от этого ничего не потеряла, а лишь выиграла, ибо в одном он только ошибался – в том, что он никогда ничего не сделает. Напротив: в какой бы области Сергей Николаевич ни работал – педагогом ли, воспитавшим многих русских юношей, литературным критиком, театроведом, исследователем в области изобразительного искусства, – заслуги его неоцененны. Но ему всегда мучительно хотелось, чтобы люди – близкие люди – подходили к нему и любили его не за его мысли, высказывания, знания, не за то, что они от него получали, а его самого, «простого, немудрого, не злого, верящего, умniejsкого русского мальчика Сережу», как он сам себя называл. Ему казалось, что он никогда не может, не умеет сказать людям о себе правду, до конца высказать себя, и тютчевское «как сердцу высказать себя, другому как понять тебя» было ему близко, как никому. <...>

В августе 1910 года Сергей Николаевич поступил в археологический институт, и помню, у него не было денег, чтобы внести первые 40 рублей, так что ему пришлось по частям занимать их у своих друзей. Он жил в это время в Пирогове, у Чернышевых, и буквально на минутку приезжал в Москву, очевидно, в связи со своим поступлением в институт. <...>

1911 год

<...> Этой зимой поэты-символисты, А. Белый, Эллис и др., собирались по воскресеньям у скульптора Крахта. Собрания эти имели целью совместное изучение творчества Вагнера и французских символистов: Бодлера, Верлена и др. Читались доклады, рефераты. Кажется, Эллис читал лекции о Бодлере. Сергей Николаевич был частым посетителем этих собраний и сам выступал с сообщениями. Настроение на этих вечерах было торжественное и какое-то благоговейное. Ходили чуть ли не на цыпочках, говорили шепотом, к символизму относились как к какому-то новому откровению. Не помню, когда и почему прекратились эти вечера.

В июне 1911 года Сергей Николаевич снова уехал на север, на этот раз со своим другом Всеволодом Владимировичем Разевигом. Я получила от него оттуда несколько коротеньких писем. «Север признал во мне старого знакомого, – писал он, – и дал чудесную погоду. Очень жарко. Воля ест пирамидон, а я и Воля – ботвинью. Я ленив, медлителен и взираю на берега, села и воды. Что-то будет далее – пока я радуюсь, что стихи за 1000 верст, и также „Musaaget“, ритм⁵⁸, Бодлер, а здесь за 1 сажень – огромная река, рыба, плоты...» Это письмо было написано с Северной Двины, где-то около Котласа. Следующее письмецо было из Соловков и, наконец, из Колы: «Мы только что пришли из Лапландии, где пробыли 10 дней. Впечатлений очень много, и все они пестры до крайности. Я уже соскучился по Москве, заметь: не по книгам, а по Москве – людям и улицам. В Норвегию поедет только на 2 дня, затем 2–3 дня в Архангельске и в Москву, где рассчитываем быть числа 26-го».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.